

А.В.Соболев

Философские мелочи*

1. «Православный позитивист» (о В.В.Розанове)

«Лишь поверхностные люди
судят не по внешности».

Оскар Уайльд

Как известно, четыре года по окончании университета В.В.Розанов провел в упоении, в поэтическом полусне, сочиняя, а затем печатая свой злополучный трактат «О понимании». И вот наступил час расплаты. Книга отпечатана в количестве шестисот экземпляров и, как обескураженно признался Розанов, – «при восьми университетах и четырех духовных академиях не появилось совершенно никакого отзыва и никакого мнения о большой книге (40 печатных листов), во всяком случае не нелепой или не только нелепой»¹. Почти весь тираж остался нераспроданным и, видимо, в конце концов пошел на заворачивание селедок. Только дарением экземпляров и дружеским «моральным террором» удалось выдать несколько благожелательных отзывов, переданных автору частным образом. Правда, две журнальные рецензии также появились, но, увы, радости они Розанову не добавили.

В десятом номере «Вестника Европы» за 1886 г. Л.З.Слонимский не без основания сетовал, что «автор сделал все от него зависящее, чтобы оттолкнуть от своего трактата любознательную публику», что «он пишет тяжелым слогом... пребывает исключительно в области схоластики и пускается в бесконечные туманные разгла

* Попытка серией небольших (намеренно заносчивых) заметок спровоцировать разговор о специфике философии и о судьбе философской культуры в России. При ясном сознании, что разговор должен быть неутомительным для читателя и предлагаться ему в малых дозах.

гольствования»². Но, конечно, самым ошеломляющим «отзывом» явился поступок коллеги Розанова по Елецкой гимназии, который на учительской вечеринке, находясь в подпитии, снял с полки подаренный хозяину экземпляр трактата и справил на него малую нужду, сопроводив сей акт столь же непристойными речами.

Можно ли эту «передоновщину» списать только за счет одуряющей провинциальной скуки, а заговор молчания – за счет всеобщего бескультурья? А может быть, писать скучно – это тоже непристойный поступок, знак неуважения к читателю, у которого хотят отнять дни и часы из его и так не слишком продолжительной жизни, ничего достойного не предлагая взамен?

Зная и любя Розанова, гоняясь за каждым его печатным словом, затрачивая усилия в архивах на расшифровку его эпистолярной скорописи, я и сегодня не в силах продаться сквозь дебри его семисотстраничного усыпительного трактата. И если справедливо признается, что задушевные мысли позднего Розанова не так уж далеки от идей его раннего трактата, то форма преподнесения мыслей, манера общения с читателем претерпела разительные перемены.

Урок был крепко усвоен. Начиная с этого шокового момента и с каждым годом по нарастающей Розанов стал все более изощренно и талантливо, со все большим уважением к читателю сопрягать глубину мысли и занимательность изложения, а в своих поздних маленьких шедеврах достиг такого совершенства, что мысли его, как лекарство с коньяком, стали всасываться в кровь мгновенно. И минуты, потраченные на их усвоение, теперь уже не изымаются из жизни читателя, а напротив, интенсифицируют и как бы продлевают её, ибо жизнь человека измеряется ведь не числом колебаний маятника, а количеством тех мгновений, которые память удерживает до смертного часа.

Какое счастье, что холодный душ остудил разгоряченное воображение Розанова, уже возмечтавшего на волне чаемого успеха одарить читателя еще одним трактатом, в котором единым взором были бы «охвачены и ангелы, и торговля» и тем самым упразднены за ненадобностью все прежние философские системы и все имеющие быть после. Получи первый трактат хоть сколько-нибудь сносную прессу, Розанов и впрямь начал бы отстраивать свою теорию «потенциальности», причем, несомненно, на фундаменте аристотелевой категории «энтелехии», поразившей его воображение со времен совместной с Первовым работы над переводом аристотелевской «Метафизики». Отголоски раннего аристо

телизма можно расслышать и в истерическом натурализме предсмертных выпусков «Апокалипсиса нашего времени», где Розанов, например, в бабочке как энтелехии куколки (почему не наоборот?) мистически прозревает природу ангелов, якобы утративших систему пищеварения, но сохраняющих способность к совокуплению. Конечно, не природа ангелов, а душа самого Розанова, даже в предсмертном ужасе не желающего отречься от земных радостей, раскрывается в этих «прозрениях». Раскрывается мощь того эротизма, которым пронизана была каждая клеточка его тела, души и духа и который, по Розанову, пронизывает также все закоулки культуры и религии.

Отказавшись под воздействием испытанного шока от первоначального замысла, Розанов все же его осуществил, но уже не в форме гелертерского трактата. Не разработкой «категории», а всей своей писательской практикой он подвел читателя к пониманию того, что не голая поверхность предмета, увиденная «ясно и отчетливо», а святящаяся вокруг него аура выражает и душу предмета, и его судьбу. Потому-то так изумила, очаровала и истомила Розанова его встреча с Метерлинком, что она наконец-то освободила его от давящего авторитета школьной философии. «После Метерлинка, – пишет Розанов, – невозможно не покатиться гомерическим хохотом над... «фигурами умозаключения», над которыми трудились (сколько мудрых!) от Аристотеля до Милля!»³. Само описание встречи с Метерлинком и его роли в духовной биографии Розанова так ярко, что грех пересказывать стихотворение в прозе своими словами.

«Я переживал, – пишет Розанов, – Леонтьева (К.) и еще отчасти Талмуд. Начал «переживать» Метерлинка: страниц 8 я читал неделю, впадая после почти каждых 8-ми строк в часовую задумчивость... И бросил от *труда* переживания – великолепного, но слишком утомляющего.

Зачем «читал» другое – не знаю. Ничего нового и ничего поразительного»⁴.

Та же самая категория «потенциальности» вдруг засияла иными гранями. «Новизна и открытие и *сила* Метерлинка, – пишет Розанов, – заключается в том, что связь с прошлым и будущим всякого «теперь» он перевел из идеального строительства именно в *осязательно-вещественное* (хотя и туманно-вещественное)... Есть *тени* около предметов! Существуют *потенции* – около реальностей, и даже разных степеней и осязательности, напряжения и «воплощения!»⁵.

Тени около предметов – именно они осязательно-вещественно свидетельствуют о глубинном содержании. Не грубое вгрызание в предмет, не расчленение его на части есть путь к познанию его подлинной сути, а культивирование в себе способности к восприятию «тонких материй», потенций этих самых предметов. Эта же мысль, хотя и в парадоксальной форме выражена, я думаю, в известном афоризме Гуго фон Гофманшталля.

«Глубину следует прятать. Где? На поверхности»⁶.

Творчество Розанова – это одно из ярчайших проявлений той общеевропейской культурной контрреволюции, знаменосцем которой можно считать Ф.Ницше и которая была направлена против переворота совершенного Декартом во всех сферах европейской мысли.

Суть великого открытия Декарта состоит, я думаю, вовсе не в том, что он установил возможность всякому пространственному построению поставить в соответствие его алгебраическое выражение. Главное – в установлении обратного соотношения, причем заявленного в самой общей форме. Это открытие можно было бы сформулировать следующим образом. Всякое научное мышление (а для Декарта оно-то и есть мышление как таковое) пространственно по своей сути, и единственная заслуживающая внимание характеристика бытия – это его протяженность. Отсюда следует, что только тупость восприятия открывает человеку возможность стать ученым или философом. Только «уставясь в землю лбом», можно оценить достоинства петушьего пения, «ясного и отчетливого». «Базаровщина» родилась не на русской почве и не в шестидесятые годы XIX столетия.

* * *

Небольшое отступление. В переводе с греческого «теория» означает «созерцание», «зрелище». Поднаторгеть в теории – значит изощрить свою способность восприятия, способность созерцания предмета изучения во всем богатстве его жизненных проявлений. Но в дальнейшем под теоретизированием стали понимать уже не саму способность созерцания, а скорее способность с помощью искусного описания *возвышать «непродвинутого»* до названной способности. Но помочь «обездоленному» развить его восприимчивость можно только научившись изъясняться на понятном ему языке. Поэтому «теоретическое» описание это всегда обедненное описание – на языке челкашей от культуры. Опыт

показывает, что лекции по физике у студентов-математиков всегда встречают негативную реакцию. Физическая теория им представляется «дырявой», сплошь и рядом опирающейся на математически не обоснованные допущения. И приходится максимально математизировать изложение, дабы постепенно подвести математиков к восприятию бытийной насыщенности⁷ физического знания. Точно так же и биологам хочется получить признание со стороны физиков ради того, чтобы в дальнейшем можно было рассчитывать на их помощь. Историкам и гуманитариям иного профиля приходится разрабатывать варианты «органического» мировоззрения, чтобы хотя бы в минимальной степени быть понятыми естествоиспытателями. Философия же, являющаяся, так сказать, «богословием для бедных», вынуждена опыт богопознания формулировать на языке «внешних». Таким образом устанавливается связь между различными уровнями опыта и поддерживается сознание неустранимой духовной иерархии. Это сознание, как известно, ярко выражено, например, в неоплатонизме.

Носитель опыта определенного уровня всегда чувствует некоторую условность собственных теоретических построений. «Обделенные» же всегда склонны толковать в них каждое слово буквально, иначе бы чувство собственной «неполноценности» слишком их угнетало. Они оказываются крайне заинтересованными в устранении всякой иерархичности.

Беспардонной лестью классу-гегемону Марк сокрушил социальную иерархию. Но за два века до него Декарту удалось совершить нечто большее. Ему удалось, возвеличив в глазах общества математику, сокрушить иерархию духовную. Теперь уже не нужно было копаться в старых манускриптах в поисках духовных авторитетов, носителей более ценного опыта. Прочитав пособие по геометрии, уже можно было толковать о Боге, нравственности и обо всем на свете.

Мудрому достаточно. Остальное дорисует воображение.

* * *

На грани веков в европейской культуре обнаружили несомненные признаки нового Ренессанса. Возродалась уже не языческая древность, а христианское Средневековье, не буквалистское отношение к слову как термину, а искусство выявления его метафорической мощи.

«Наше время, – писал в 1907 г. Гуго фон Гофмансталь, – донельзя напичкано неосуществленными возможностями и вместе с тем трещит по швам от вещей, которые, наверное, существуют, лишь бы существовать, и в которых не теллится ни искорки жизни. Такова природа нашего времени: все, что действительно влияет на человека, запрятано внутрь, не рвется метафорой наружу, тогда как, например, время именуемое средневековьем, громоздящее и по сей день свои руины и фантомы, выплеснуло наружу все, что принесло, в виде грандиозного собора из метафор»⁸.

Чтобы видеть суть вещей, не нужно уподобляться ребенку, разламывающему игрушку. Суть вещей лежит на поверхности. Только геометрия этой поверхности не совпадает с Декартовой протяженностью. Нужно уметь видеть вещи как бы в инфракрасных лучах, т.е. видеть их как бы в пространстве с большим числом измерений.

«Несколько друзей знали ему цену, – пишет Пушкин о Грибоедове, еще не бывшем в ореоле авторства «Горя от ума», – и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротой, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в Московском Телеграфе»⁹.

Большинство людей только в лучах славы способно разглядеть «потенции», т.е. ту ауру, ту «поверхность», которая не совпадает с телесной оболочкой. Чтобы видеть вещи в бытийном пространстве, нужно быть в нем укорененным.

Cogito et sum, несомненно, связаны. Но соотношение здесь скорее обратное: sum ergo cogito. Только укоренность в бытии, только обладание подлинным бытием делает впервые мышление возможным. Моление о чаше более бытийно и более заслуживает имени «мышление», чем хитроумные расчеты карточного шулера. И сравнение здесь должно идти не по количеству операций в секунду и не по степени эмоционального накала.

Философ живет в пространстве с иной геометрией, чем пространство вещей. Для философа Афины могут оказаться ближе Мытищ, а Платон современнее Владимира Соловьева. Философское мышление это искусство двигаться мыслью одновременно и в предметном, и в духовном (ценностном) пространстве.

Наука максимально редуцирует ценностную составляющую, чтобы в качестве меры можно было использовать число и «натуральный аршин». Без измерений наука существовать не может. Но философия вынуждена искать иную меру.

«Человек есть мера всех вещей» – в первом приближении этот тезис, безусловно, верен. Но как обойтись без конкретизации? В шутке об одном «микояне» как мере политической устойчивости есть свой резон. Русская культура нашла свою меру в Пушкине и Сергии Радонежском, немецкая – в Гёте, итальянская – в Данте и т.д. Но европейская культура в целом свою высшую меру нашла в личности Иисуса Христа. Христианское покаяние и есть измерение наших помыслов и поступков этой высшей мерой. Церковь готова простить все наши слабости, но не отсутствие меры в нашей душе, позволяющей нам самим оценить наши проступки как грех. И праведный гнев Лермонтова обрушен на Дантеса не только и даже не столько потому, что тот убил гения, сколько потому, что тот даже и не понял «на что он руку поднимал». Именно отсутствие внутренней меры превратило Дантеса, в глазах Лермонтова, из преступника в ничтожество.

Поиск меры, стремление увидеть ее отражение во всех проявлениях жизни, попытки начертать «геометрию» единого предметно-духовного пространства – все это составляет душу философствования.

О подобных поисках мы можем, например, прочесть в исповедальном письме Розанова, адресованном в 1910 г. профессору Санкт-Петербургской духовной академии Н.Н.Глубоковскому. «Скучающий учитель в Ельце, – пишет Розанов, – я познакомился в 1887–88–89–90 гг. с целым «уголком духовенства», и вот до 1910 г. я – встретив много людей, частью «великих» или «знаменитых», все же ни в ком я ни разу не нашел того света, тепла, *благородства, утонченности* душ и сердец, того (внутреннего) изящества быта, какой нашел там... Только в этом уголке я видел такую *меру* души человеческой, особенную красоту и сияния ее, такие особенные отношения «к ближним», каких решительно никогда и ни у кого не встречал, а которые отвечают на все вопросы духа, удовлетворяют все тревоги, тоску, недоумение души, *все заливая светом и красотой...*

Вы знаете, дорогой Николай Никанорович, что почти самое ценное в жизни: это увидеть *настоящего* человека; «настоящего» – без житейских и всегда опутывающих определений. Есть «настоящий» ум (у Менделеева), «настоящая» поэзия (Пушкин): но, пожалуй, и даже наверное выше всего «настоящий» человек, у которого бы отношения к Небу и Земле, далекому и близкому, «кровному» и только знакомому – вылились бы в «настоящие» мерки, в «настоящие» формы... Чтобы *гордости* не было и не было уни

чижения; хитрости не было – и не было бы «простоватости», тут Солнце творит, природа творит; вдруг находится «гармония» всего этого, настоящая «мера»: и глядя, 20 лет глядя, Вы не понимаете, что тут можно было бы «вытунять подлиннее» или «немного укоротить». Солнце сказало «да», и человеку остается повторить только «да»¹⁰.

Главный бес среди героев знаменитого романа Достоевского, конечно же, не Ставрогин и не Верховенский-Младший, но именно Степан Трофимович Верховенский, этот типичный представитель либералов 1840-х годов. Именно они в привлекательной и даже изящной форме произвели либеральную операцию отрыва человека от онтологических корней, лишив его тем самым внутренней меры и превратив в объект манипуляции. А манипулировать человеком легче всего, играя на худших, низменных сторонах его души. После этого бесовщина стала уже неизбежной.

«Нигилизма, – укорял молодого Розанова Н.Н.Страхов, – вы не знаете, потому не видите, что западничество принимается *худшими* сторонами русской души, что нигилизм его логический плод»¹¹.

Беда не в том, что западники живут со свернутой на Запад шеей. Беда в том, что повернуты они туда мелкой, завистливой, тщеславной и суетливой стороной души. «Белинский, – подчеркивал Розанов, – был новым духом, новым «гением»... он породил из себя новую категорию души человеческой, именно *площадной души*»¹². Площадная душа не сможет разглядеть на Западе «страну *святых чудес*». Она способна восхищаться и брать примером для подражания только худшее и мелкое.

В 1860–70-е годы русская интеллигенция прошла еще дальше по пути измельчания души. И Розанов сожалел, что ценимый им и несомненно талантливый Ю.Н.Говоруха-Отрок не сможет написать на должном уровне задуманную им работу о Гоголе именно потому, что душа его сформировалась в те годы, а «всякому *сроку* историческому своя *мера понимания*»¹³.

Речь не о том, что указанные годы были периодом господства позитивизма. Гораздо важнее, что это был позитивизм нигилистический. Грубая нигилистическая мысль могла ощущивать только грубую поверхность. На месте цветущей обаятельной девушки в жестких рентгеновских нигилистических лучах проступал скелет мертвеца, а священная история взаимоотношений человека и Бога оказывалась набором бессмысленных анекдотов.

«Анекдотом, – пишет Розанов, – истории не объяснишь.

А ведь наши историки, если попристальнее на них посмотреть, суть анекдотисты.

В них нет торжественности...

Душа их не торжественна... Как уловил это Лермонтов:

В небесах торжественно и чудно...

Боже: если для того даже, чтобы понять ночь, – нужно иметь особенную душу, иначе, кроме «темного», ничего не увидишь: то сколько надо иметь в душе, чтобы понять историю.

Боже, внуши священство людям, Боже, внуши священство людям, Боже, внуши священство людям.

Ты отнял «священника» в человеке, и глаза его смежились, и он смотрит и ничего не видит, знает – и ничего не понимает¹⁴.

Но самое печальное, сокрушается Розанов, это то, что писатели славянофильского направления, имеющие «священство» в душе, обладающие способностью видеть вещи из глубины торжественной тишины, оказываются оттеснены на задворки в общественном сознании, воспитанном на ярмарочной яркости нигилистической литературы.

«Одна из в высшей степени опасных и трудноисцелимых сторон русского просвещения, – с болью констатирует Розанов, – заключается в следующем:

Оно болезненно, гнило, криво. *Но только оно есть*; по крайней мере только такое талантливо, ярко, горячо... Яркие – Некрасов, Гоголь, «Современник». Яркий Щедрин и его «Отечественные записки». Михайловский. Тут что ни человек, то «квадратная верста» бумаги, прекрасно исписанной, литературы настоящей¹⁵.

Что же делать? Переиграть ярких насмешников на их поле невозможно. Только внутренней тишиной, только благородством тона можно показать нищету нигилистического позитивизма. Но подвести к этой тишине нельзя, не отправившись к людям на ярмарку. Иного пути нет, кроме расширения спектра чувств, тональности, стилистических средств до пушкинского диапазона. Только богатством музыкальных переходов от иронии к благоговению, от смеха к глубокой серьезности можно показать, насколько мелка и отупляюща однообразно иронизирующая литература.

«Смех, – подчеркивает Розанов, – есть вообще недостойное отношение к жизни»¹⁶.

Только музыкальная душа способна видеть онтологическую «глубину» не в отрыве от поверхности вещей. И только розановское стилистическое богатство оказалось в силах выразить существо этого «православного позитивизма» и наметить пути к победе над позитивизмом нигилистическим.

«Из писателей нашего направления (православных) мне первому, – пишет Розанов, – удалось добиться читаемости... Это – *первый* раз за историю литературы... Победа! Победа! В кабаке наконец внесен образ: и как проститутки ни беснуются, тихая свечка светится и светится. И не погасить ее...»¹⁷.

Воистину победа. И какие бы программы растления не осуществлялись, но раз уж на Руси начали зачитываться Розановым, то не все потеряно.

2. Личный секретарь о. П.Флоренского

Софья Ивановна Огнева (ур. Киреевская) родилась в 1858 г. и провела ранние детские годы в орловских имениях деда и отца. Женатый на собственной крепостной дед Николай Петрович Киреевский был в недалеком родстве со славянофилами, но никаких связей с ними не поддерживал и вел жизнь богатого, но вполне заурядного провинциального помещика, лишённую каких бы ни было духовных интересов. Каждый из восьми его сыновей выходил в малых чинах в отставку и прожигал жизнь в охотничьих забавах и любовных интрижках. Характерно, что один из них, проведя некоторое время в одной палатке с М.Ю.Лермонтовым во время службы на Кавказе, даже не подозревал, что общался с великим поэтом, и отзывался о нем как о пустом малом, плохом служаке, «вышедшем на дуэль из-за пустяков». Мать Софьи происходила из семьи Потемкиных, находившейся в родстве с полудержавным властелином екатерининских времен, но укладом жизни не отличавшейся от семьи Киреевских. Сестры матери, истомленные здоровьем и деревенской скукой, перебираясь на жительство в Москву, не находили в себе душевных сил противостоять новым веяниям, зачитывались Боклем и Чернышевским и устраивали по рецептам последнего швейные мастерские в уютных арбатских особнячках.

Препорученная заботам эмансипированных тетушек, Софья окончила в Москве Александро-Мариинский институт, но продолжить образование на высших женских курсах В.И.Герье не смогла, т.к. отец категорически заявил, что предпочтет видеть дочь мертвой, чем курсисткой.

Продолжая заниматься самообразованием, Софья через свою подругу Анну, сестру будущего председателя Первой Государственной Думы Сергея Андреевича Муромцева, познакомилась с

кружком молодых либеральных профессоров и публицистов, в который входили М.М.Ковалевский, А.И.Чупров, И.И.Янжул, В.А.Гольцев и ряд других кумиров тогдашней молодежи. И все же у юной Софьи достало душевного здоровья и проницательности, чтобы за ореолом прогрессивности и популярности разглядеть пустогрудость и неосновательность представленного в кружке человеческого материала. «Станным образом, – вспоминает она, – несмотря на то, что лица, составлявшие Муромцевский кружок, были все выдающиеся, крупные, известные ученые, с громкими именами, с создавшейся вокруг этих имен славою, сильного впечатления ни личностью, ни мыслями, которые они высказывали в своих оживленных беседах, они никогда не производили. Это были какие-то манекены, словно живые мертвецы. В них чувствовалось отсутствие живого национального чувства. Прежде всего, они были не русские люди; для них не было ни родины, ни национальных и религиозных традиций. Каждый из них говорил словно с трибуны...»¹⁸

Устояла Софья и против чар самого лидера кружка, сказочного красавца и триумфатора, двадцатисемилетнего профессора Императорского Московского университета, вскоре доведшего любовными преследованиями свою родную сестру до душевного расстройства и самоубийства. «Станный он был и жуткий человек, – вспоминает о С.А.Муромцеве Софья Ивановна. – В нем было собственно два резко разграниченных человека. Один – добродушный (...) Другой – был темный, непонятный и страшный. Это был образ, который так тонко понимал и так гениально изобразил Достоевский в лице Ставрогина. В Муромцеве не было крупной натуры и широкого размаха Ставрогина, но во всяком случае он его во многом напоминал. С.А. отличался полным безверием и в то же время был полон суеверий и предрассудков, был по временам циничен и жесток»¹⁹. Кстати говоря, и его младшего собрата по либеральному движению Павла Милюкова, его научный руководитель, великий историк В.О.Ключевский, сблизил с персонажем Достоевского, назвав «смердяковым русской истории».

Но благодаря кружку Софья через аспиранта Муромцева, Владимира Огнева, познакомилась с его старшим братом, медиком Иваном Флоровичем Огневым, будущим известным гистологом, также оставленным при Московском университете для подготовки к профессорскому званию. На фоне остальных членов кружка он, в глазах Софьи, выделялся нравственной чистотой, от него веяло духом подлинности и основательности. В нем

она почувствовала опору в своей будущей жизни. В июне 1883 г. они поженились и прожили счастливо до самой кончины Ивана Флоровича в 1928 г., вырастив и воспитав трех замечательных сыновей.

Софья Ивановна живо интересовалась университетской жизнью мужа и его друзей-профессоров, а когда подросли сыновья, то также и жизнью нового университетского поколения. Особая духовная близость существовала у нее со старшим сыном Александром, который сначала поступил на естественное отделение физико-математического факультета, но потом, не окончив его, перешел на философское отделение историко-филологического факультета. Затем он был оставлен Л.М.Лопатиным при университете для подготовки к профессорскому званию и в свой черед защитил магистерскую диссертацию. Среди близких друзей Александра надо выделить будущего известного философа В.С.Шилкарского, будущего основателя евразийства и выдающегося лингвиста князя Н.С.Трубецкого, видных филологов Ф.А. и М.А.Петровских, М.В.Шика, И.С.Веровкина. К сожалению, имена многих из этого круга не сохранились в истории, ибо их носители безвременно ушли из жизни вследствие последовавших вскоре трагических событий. Но следует отметить, что это был тот самый круг молодых людей, в котором, по словам Н.С.Трубецкого, впервые зарождались и обсуждались идеи будущего евразийства.

После революции, переселившись в Сергиев Посад, Софья Ивановна духовно сблизилась еще с одним знаменитым другом старшего сына, о. Павлом Флоренским, и стала фактически его личным секретарем, записывая под его диктовку и перепечатывая его работы. После ареста и высылки Флоренского, потеряв перед этим мужа, рано умершего старшего сына и ушедшего с белой армией в эмиграцию младшего сына Владимира, Софья Ивановна почувствовала утрату смысла жизни и единственное утешение она нашла в написании собственных воспоминаний, хлопоты об опубликовании которых в издательстве «Academia» тянулись с 1934 по 1937 г., когда они вполне естественно завершились ничем. К сожалению, это были как раз те годы, когда многие персонажи ее «Воспоминаний» переходили в разряд неупомянутых, как например арестованный по «словарному делу» в 1935 г. и расстрелянный в 1937 г. М.А.Петровский. Поэтому в архиве издательства сохранился, видимо, сильно сокращенный вариант рукописи.

Умерла Софья Ивановна в 1940 г., окруженная заботой единственного оставшегося при ней среднего сына, видного ученого-ботаника, профессора Московского университета Сергея Ивановича Огнева.

3. Должна ли философия быть наукообразной?

Почему невозможно объяснить успешно действующему ученому разницу между философией и наукой? Потому что ему это знать не нужно. Это знание его оскорбляет. Оно включает в его душе механизмы блокировки, механизмы отторжения. Ему хотелось бы думать, что философия это та же наука. Ну, пусть метанаука, наукоучение, наука наук, но – наука. Тогда как по природе своей наука и философия (являющаяся видом искусства) разнятся как день и ночь.

«Научная и культурная точки зрения, – справедливо подчеркивал Вяч. Иванов, – не только противоположны, но друг друга исключают. Наука – демократична, культура – аристократична»²⁰.

Да, Фигаро может оказаться гораздо смысленнее графа Альмавивы. Зачастую так оно и бывает. Но душа у Фигаро лакейская, и с этим ничего поделаться нельзя. Гегель подробно описал диалектику раба и господина. Будучи опосредован рабом в своих отношениях с природой, господин попадает к нему в зависимость и утрачивает власть. Рабу же кажется, что он не нуждается в господине, и совершает переворот. Гегель не объяснил рабу, что тот также опосредован, опосредован господином в своих отношениях с небом.

Трагедия революций не в том, что все меняется местами, а в том, что с переменой мест у лакея не меняется душа и он остается лакеем на троне.

За последние три века наука совершила подлинную революцию во всех сферах жизни. Она подмяла под себя богословие и философию, принудив их стать наукообразными, подготовила почву для господства поп-искусства. Жить стало лучше, жить стало веселее. Наука экранировала нас от неба. Вертикальное напряжение резко ослабло. Но не приведет ли этот парниковый эффект к глобальной катастрофе?

При строительстве храма камни поднимаются на высоту и там закрепляются в полном соответствии с законами природы. Но даже тысячу лет изучая камни и законы, нельзя из них вывести

образ храма. При строительстве изобретаются домкраты и лебедки, но и в них образ храма отсутствует. Тысячи тонн материала и тысячи людей приведены в движение не природными силами, а силой воображения, которое, в свою очередь, питается религиозным воодушевлением миллионов людей, нуждающихся в сохранении связей со смыслом жизни.

Высшие цели направляют движение человеческого духа и мысли, и горе нам, если излишняя рационализация упростит и исказит образ храма. Точно так же и философ не должен позволять своей душе под видом любознательности отвлечься от высших целей, от смысла жизни. Многознание не только не научает мудрости, но, хуже того, мельчит душу.

Механизмы и компьютеры потакают лености духа, обещая освободить его от труда. Но не механический, а только ручной и душевный труд осуществляют нашу связь с небом, ибо связь знания со смыслом не логическая, а символическая. Смысл не в конце причинно-следственных цепочек. Смысл им перпендикулярен. Однако он обладает мощью разрывать цепочки рационализаций и превращать их в средства художественной выразительности, с помощью которых он и творит иерархически организованное художественное целое.

Академик Раушенбах, выступая как-то по телевидению, признался, что изучая два десятка лет искусство, он так и не понял в нем главного. Он не научился отличать талантливое от бездарного. Чтение искусствоведческой литературы не приблизило его к пониманию, ибо он не обнаружил в ней привычной для него логики рассуждений. Вся аргументация там, по его словам, сводится к возгласам: «Ах, как это прекрасно!» и к рассуждениям типа: «Это хорошо, потому, что это прекрасно. Это прекрасно, потому что великолепно. Это великолепно, потому что изумительно». И здесь академик ничуть не утрирует ситуацию. «Логика» продвижения по вертикали действительно иная, нежели логика движения по горизонтали. В мире природы отношение «выше-ниже» можно измерить числом. Но как измерить это отношение в ценностном мире? Инструментом измерения здесь является сама личность, и ссылка на авторитеты играет решающую роль. Естествознание же заменило авторитет личности авторитетом вещи.

Способность воспроизвести явление свидетельствует об истинности его познания. Но разве способность воспроизвести в читателе состояние восторга и вдохновения, состояние духовного подъема не свидетельствует об истинности художественного

познания, об истинности познания мира ценностей! И даже естествоиспытатель, становясь педагогом, невольно начинает иначе выстраивать совокупность знаний, организуя ее (по возможности) телеологически. Целью его становится уже не воспроизводство явлений или математических построений самих по себе, а «воспроизводство» творческой личности, «воспроизводство» состояний вдохновения и духовного подъема. Педагог невольно начинает сопровождать передачу «голого» знания воспоминаниями о своих творческих удачах и о ярких личностях из мира науки. Т.е. начинает превращать естественнонаучное знание в гуманитарное, делая его элементом художественного целого. Уже в зрелом возрасте педагог начинает учиться *искусству* художественной организации знания, *искусству* двигаться мыслью одновременно и в рациональном, и в ценностном измерении, т.е. учиться философии.

И тогда встанут вопросы: а оправдана ли капитуляция философии перед наукоцентричным мировоззрением? Может быть, и сама наука выиграет, если перестанет навязывать другим дисциплинам свои критерии истинности и займет подобающее ей достойное, но далеко не господствующее место в культуре? Наука уже всем доказала свою мощь и свою нужность. Не пора ли ей признаться в том, что она сама остро нуждается в знаниях, добываемых иными способами?

4. О методе

1. Историю русской философии нельзя толково и интересно изложить вне перспективы становления персонализма в России, достигшего зрелости в творчестве Ф.М. Достоевского, В.В. Розанова и о.П. Флоренского. Только в свете высших достижений все моменты истории философии приобретают осмысленность, а изложение драматическую напряженность и становится захватывающе интересным. В персонализме, являющемся жизненным нервом философии как таковой, философия осознает свою природу как особого способа организации знания. Системы знания должны не угнетающе воздействовать на душу читателя, а напротив, способствовать его духовному возрастанию, открывая перспективы к высшим целям, задаваемым всплывшими откровениями. Поэтому телеологизм изложения совершенно неизбежен, и он достигается путем максимального выявления метафорической составляющей словесного оформления, ибо связь «высшего» и

«нижнего» имеет не логическую, а символическую природу. Особое значение при этом приобретает ритм изложения. Как стихотворение в идеале должно длиться не более 3-4 минут, так и философский текст должен прочитываться на одном дыхании. Поэтому алгоритмически сжимаемое знание не подлежит развертке, чтобы не нарушать найденный художественным чутьем ритм изложения. Труд логической развертки обязан взять на себя читатель, пользуясь библиографическими указаниями историка философии.

2. «Онтологизм», как одна из ключевых характеристик русской философии, не может быть объяснен, скажем, ссылкой на суждение Флоренского об Истине как Естине. Историк обязан облегчить читателю восприятие мысли Флоренского как реального *события* в бытии, восприятие его мысли как реального продвижения в направлении бытийной насыщенности мысли. Только тогда его мысль сможет выявить свою духоподъемную силу.

3. Нельзя отнести философа к персоналистам на основании лишь того, что он высшим бытием считает Троиединую Личность. Такое признание может оказаться голословным. Важно, каким способом познается это высшее бытие. Трансцендентальный субъект его познать не может. Методом интроспекции можно обнаружить в своих глубинах лишь «Ничто». Только глазами другого я могу «увидеть» бытие. Поэтому декартовский тезис на почве персонализма преобразуется в тезис: «Я мыслю, следовательно существуют интимно близкие мне люди». Острый интерес к исповедальным и благодатным корням чужой мысли обличает в философе персоналиста. Это уже не «психоанализ», а, так сказать, «персоносинтез».

4. «Соборность» и «персонализм» – понятия нерасторжимые. Если опыт церковной жизни, когда собравшиеся во Имя Христа начинают ощущать реальное его присутствие среди них, преобразует философское мышление и оно начинает излучать вокруг себя ауру, втягивающую читателя в сочувствующее сотворчество, то в этом случае мы можем говорить о мышлении в элементе соборности. Подобно артисту, философ-персоналист мыслит как бы на сцене. Продвижение мысли по вертикали выражается не логикой, а интонацией речи, помогающей с должной условностью относиться к каждому слову. Но верную интонацию можно найти только перед лицом слушателя. Собравшиеся во имя Истины (пусть даже в идеальном пространстве) могут ощутить реальное Ее присутствие, и это уберезет их от фальши. Малейший привкус гениальничания, апломба, попыток самоутвердиться за чужой

счет мгновенно разрушит благотворную (чтобы не злоупотребить словом «благодатную») ауру мысли и превратит тезис о соборности в простую риторическую фигуру.

5. Хвала цитате! Логические рассуждения философа историк может изложить яснее и компактнее своими словами. Но подлинные события мысли должны быть представлены в подлиннике. Лишь они одни способны обеспечить реальное присутствие автора и возможность с ним собеседования. Главная задача историка – найти эти вспышки мысли, эти корни мысли, а не отвлекаться на прослеживание подробностей ремесленных разработок. Простой коллаж из корневых мыслей философа, высвечивающий искусной компоновкой всю мощь их метафоричности, в тысячу раз ценнее объемистой гелертерской монографии. Нужно уважать читателя. Да и себя тоже.

Примечания

- ¹ *Розанов В.В.* Литературные изгнанники. СПб., 1913. С. 128.
- ² Цит. по: *Розанов В.В.* О понимании. М., 1996. С. 665.
- ³ *Розанов В.В.* О писательстве и писателях. М., 1995. С. 241.
- ⁴ *Розанов В.В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 343.
- ⁵ *Розанов В.В.* О писательстве и писателях. С. 242.
- ⁶ *Гофмансталь Гуго фон.* Избранное. М., 1995. С. 734.
- ⁷ Не лишне напомнить, что «бытийность» и «важность» – это по сути одно и то же. Только понимать нужно «важность» через «бытийность», а не наоборот.
- ⁸ *Гофмансталь Гуго фон.* Указ. соч. С. 582.
- ⁹ *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. в шести томах. Т. 4. М., 1949. С. 432.
- ¹⁰ Сосуд избранный. История российских духовных школ. Санкт-Петербург. 1994. С. 104, 105, 107.
- ¹¹ Цит. по: *Розанов В.В.* Литературные изгнанники. 1992. С. 243-244.
- ¹² *Розанов В.В.* Когда начальство ушло. М., 1997. С. 509.
- ¹³ *Розанов В.В.* Литературные изгнанники. С. 440.
- ¹⁴ *Розанов В.В.* Когда начальство ушло. М., 1997. С. 408.
- ¹⁵ Там же. С. 393.
- ¹⁶ *Розанов В.В.* Сахарна. М., 1998. С. 148.
- ¹⁷ Там же. С. 251-252.
- ¹⁸ *Огнева С.И.* Полвека моей жизни. Воспоминания // РГАЛИ, ф. 629, е.х. 1270, л. 186.
- ¹⁹ Там же, лл. 180-181.
- ²⁰ *Альтман М.С.* Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 86.